

Владимир Даль

Подкидыш

– Не плачь, Аннушка; не ломай рук, Анна Алексеевна, сделай милость, пожалуйста, ну что без пути себя убивать; Бог милостив, Господь не оставит нас, право не оставит. Ну послушай же меня, Анна Алексеевна: ну видано, слыхано ли где на Руси, чтоб люди с голоду пропадали? Так-ли, сьяк-ли, пробьемся.

Вот и начальник, глядя на бедность мою (при этом Семен Иванович оглянулся на локти свои) обещал маленькое награждение. Ну, бедность наша – конечно бедность; да ведь Бог-то милостив, не даст пропасть...

– Наказал Он нас по грехам нашим, продолжала плакать слабым голосом бедная роженица, жена губернского секретаря, служащего в столе по счетной части, – куда мы с ними денемся? Семеро было, мал-мала-меньше, и те ходили голодные и холодные; а теперь, двое разом... Господи, Создатель мой милосердый!

Семен Иванович, служивший, как мы сказали, в столе по счетной части, но недошедший еще до крайнего и высшего предмета страстных своих надежд – до штатной должности, был бедняк, как говорится, убитый судьбою, которого беда и горе постоянно преследовали по пятам.

Сколько он себя помнил, всегда он либо переводил дух после недавнего несчастья, либо стоял, растопырив все десять пальцев, сраженный неожиданною неудачей, либо не досыпал и не доедал, ожидая неминуемого удара. К этому он до того привык, что лицо его раз навсегда приняло выражение испуга и недоумения, и так ходил он по праздникам и по будням и с этим же лицом постоянно в восемь часов утра являлся к должности. Если какие-нибудь необычайные обстоятельства вызывали улыбку на этом, залубеневшем под влиянием изумления и страха лице, то она до того не шла к нему, что казалось будто на столь знакомом лице Семена Ивановича каким-то подлогом поселилась улыбка чужая. Знали ли вы таких тружеников бумажного производства, или вернее истребления, таких жертв письменного порядка, или беспорядка, у которых вся совокупность умственных способностей вместо того, чтоб выходить из головы раструбом наружу, для объема всего, что человека окружает, всего, что доступно уму и чувствам его, принимает вид обратный, с обращением раструба внутрь, а узкой и тесной вершиной наружу, на один только предмет – на лежащую перед очком этим бумажку или счет? Все, что расположено вне этого тесного круга зрения, вне очка, эти люди не видят и видеть не могут, как мы не видим того, что делается в противном полушарии.

Весь мир для них усох в один комочек, в одну засушенку, и во время вдохновения и самого смелого полета воображения, он развивается на пространстве графлёного листа бумаги. Что тут не умещается, того нет и не бывает и о том не может быть речи.

Таков был Семен Иванович. Нет для него речей, кроме входящих в состав приходных и расходных статей и срочных, разного именованья, отчетов; нет для него никакого различия в повышении и понижении голоса, в способе выражения, как различия по отношениям степеней началия и подчиненности; нет звуков, не только музыки, кроме брякотни счетов. Он исписал, кроме всех форменных счетов и отчетов, толстую тетрадь объяснительными цифрами и замечаниями, с отметками где карандашом, где красными чернилами, на случай смерти, как он объяснил

ближайшему товарищу своему, чтоб преемник его ни в чем не затруднился и чтоб не пал на Семена Ивановича укор, будто он покинул дела свои в беспорядке. Это было какое-то служебное духовное завещание. Кроме этих служебных отношений, Семен Иванович знал одни только домашние: здесь нужда и бедность, одолевая его на каждом шагу, заглушали почти все иные чувства, впечатления и взаимные сообщения; жена и семеро детей – легко сказать, а кормить, одевать и обувать их куда как тяжело!

Анна Алексеевна, дочь того ж чиновника, в молодости своей правда что помотала порядком (сколько можно мотать из ста рублей в год), но теперь уж давно выстрадала эти грехи молодости. И она, как прочие, искала все счастье жизни в шелковом салопе, в бархатной шляпке, в цветках, лентах и перьях; и ей казалось, в свое время, что без обеда сидеть не только можно, но и должно в последнюю четверть каждого месяца, в ожидании жалованья; но что жить без бурнуса, мантона, мантильи или как весь хлам этот именуется - нельзя, а остается тогда только сидеть дома и выть перед мужем, покуда не добудет он такого тряпья, какого навесили на себя другие. Но все это давно прошло, как сон; бедность и какая-то искра здравого рассудка и самостоятельности, запавшая как священные останки в душу ее, постепенно заставили ее очнуться и осесться. Конечно, и она, как прочие, и поныне не умела подать семье своей никакой более помощи в положении этом, как ту, чтоб водить ее в грязи и отрепьях, да жить завтрашним днем, а не вчерашним, то есть брать вперед жалованья, сколько можно выпросить у казначея, и брать в долг припасы, сколько дадут во всех соседних лавочках. Но что ж делать, коли она лучшего не знала, не видела и придумать не умела; зато на себя она уж не тратила ничего. Не будучи самовластной, она однако ж привыкла управлять мужем и домом неограниченно, как потому, что мужа почти весь день не было дома, так и по отсутствию всякой самостоятельности в нем и исключительной способности по счетам и отчетам по службе. Занятый день и ночь, во сне и наяву одним только этим, он сегодня в половине восьмого утра отправился, ничего не зная и не чая, на службу; а воротившись оттуда к обеду домой, встречен был вестью, что в отсутствие его Бог дал двойней...

Постоянно удивленное лицо его усвоило себе внезапно еще какую-то улыбку испуга и изумления, а глаза как бы застыли в том положении, как застала их врасплох эта нечаянная весть...

Озадаченный подарком этим, он старался утешить Анну Алексеевну только словами, а в голове и на сердце у него было – не знаю что, такая пустота, такой холод, такой страх, что этого нельзя описать словами. Он и не замечал, что утешительные речи его вовсе не шли к отчаянному, растерянному виду и всей наружности его. Он говорил: «Бог милостив, Бог поможет», а сам похож был на человека, готового сейчас утопиться или удавиться. Он стоял перед страдальцей, как пришел, в крепко заношенном вицмундиришке, выпучив глаза, стиснув губы, опустив неловко голову, будто она была свихнута, и волос, казалось, подымался на ней дыбом; растопырив все десять пальцев, он, с каким-то тупым участием, почти похожий на постороннего зрителя, смотрел на все, что вокруг делалось; переверот, происшедший так внезапно в бедном жилье его во время отсутствия его на службе, перевернул весь жилой уголок его вверх дном; принадлежности разного рода, необходимые при таком чрезвычайном случае, или бывшие тут и там помехою и сунутые на скорую руку куда ни попало, лежали ворохами в комнате, а комната эта была у него одним-одна, только перегороджена ветхими бумажными ширмами

пополам; ребятишки всех величин и размеров, все погодки, визжали, пищали и ревели на ворохах этих и под ворохами; на что ни взгляни — все грязь и лохмотья. Добрая приятельница, соседка, принявшая, из сострадания, на это тяжкое время хозяйство (разумеется, что прислуги тут ни какой не было) управлялась кой-около чего, а озадаченный отец, истощив в немногих словах все свое красноречие утешения, уставил мутные глаза на то место постели, где, рядом с роженицею, что-то накрыто было лохмотьями... Он не решался приподнять угол заветного лоскута, будто страхась убедиться своими глазами в Божьей милости — как поселяне наши называют две довольно противоположные вещи: «детей или урожай и пожар от грозы».

Для бедняка Семена Ивановича это, кажется, была Божья милость в роде последней, то есть крест и искушение.

Он был поражен этим случаем не менее того, как если б, пришед со службы, нашел, вместо жилья своего, одно только пепелище. Добрая соседка вмешалась в беседу или разноголосицу супругов и рассудила, что Семен Иванович и точно прав и Бога гневить грешно: Господь милостив, коли Своего старания приложит, так все исправит. Суждение это подкреплено было приличными примерами.

Семен Иванович почесался за ухом — значит пришел в себя, опомнился маленько, но, не отводя мутных глаз своих от покрытой лохмотьями кучки на постели, подумал про себя: «Господь старанья приложит, поправит — приберет, стало быть, по милосердию своему, конечно, двойни не жильцы, не живучи...да и то не знаю, как и чем похоронить, без расходов все нельзя...» Лицо его начинало опять принимать прежнюю, отчаянную складку и голова стала топорщиться половой щеткой... «А крестины?» Испугавшись этого двойного, непосильного расхода, он, будто вдруг проснувшись, потер лоб и, чтоб рассеять себя, спросил: «Не хочешь ли чего, Анна Алексеевна, селёдки или шалфейцу напиток? У меня ведь, вот видишь, и гривенничек и медных немножко есть... Сходить?»

Анна Алексеевна как-то значительно покачала головой и отвернулась молча в другую сторону. Опять Семен Иванович остался в недоумении и опять выручила его соседка. Покончив дела свои, она объявила, что надо ей теперь идти домой, а Семену Ивановичу оставаться при роженице до утра, послав записку в палату, что он нездоров, с тем, чтоб отдохнуть днем; а с утра она опять придет их проведать. На все это он согласился беспрекословно, заметив только, что он больным сказываться не станет, а уж разве прямо напишет, по правде, какое случилось несчастье, хотел было он прибавит, но опомнился и поправился: какую то есть Бог дал радость, выговорив, однако ж, последнее слово с таким тяжелым вздохом, что радость эта отзывалась горьким горем.

Супруги остались одни. Несколько времени слышались только шаги Семена Ивановича, прибиравшего кой-что, да вздохи и стоны роженицы, не столько от боли, как по безвыходности бедственного положения семьи; затем два прибылые нахлебничка стали повизгивать, чередуясь, будто перекликаясь и перекоряясь взапуски. Семен Иванович присел и, сложив руки, стал прислушиваться к этому двоегласию.

— У одного погуще голосок — сказал он тихонько, — побасистее, и как будто этак — один выносит, а другой подхватывает...

— Что ж ты, долго этак сидеть будешь да вслушиваться? — спросила Анна Алексеевна. — Бери, да девай куда хочешь, твои ведь!

– Помилуй, матушка, куда же мне-то деть их? Мои, вестимо, что наши, и твоих черев урывочек...

– Нет, твои, твои! Я что с ними делать стану? Кормилицу что ли найму? Корову купим? И одного-то кормить, так чай наперед самой поесть надо... Бери, бери, неси куда знаешь!

Семен Иванович подошел вплоть к кровати, опешив до последней степени; он не знал что и говорить.

– Помилуй, помилуй, Анна Алексеевна, я то есть лягу, пожалуй, я к себе их положу, а вы отдохните...

– Куда ты их к себе положишь? Бредишь что ли? Ты опомнись, встряхни голову: вон, семеро по углам лежат, и те почитай не евши уснули, а тут еще двое? Бог с тобою, голодом да холодом не вспоишь, не вскормишь никого; наготы да босоты у нас и без них вдоволь. Бери, да неси куда знаешь.

– Куда знаешь, куда знаешь, – повторил он. – Помилуй, Бог милостив, все найдется, то есть все пройдет, даст Бог, благополучно; вы не робейте только...

Но беседа эта, несмотря на такую уверенность Семена Ивановича в Божьей милости и помощи, кончилась тем, что уж он стал только отпрашиваться выждать ночи, потому-что днем нельзя же нести куда-нибудь под порог ребенка.

Привыкнув в домашнем быту во всем подчиняться Анне Алексеевне, Семен Иванович, при растерянном соображении своем, тупо и бессознательно подчинился отчаянному требованию ее и, повесив нос, замолчал. Он сделал было еще попытку отстоять хоть одного из двойней, но когда Анна Алексеевна положительно повторила, «обоих, обоих» то он и тут опять выговорил себе только ту льготу, чтоб разнести их порознь, а не обоих за один раз, потому, говорил бедняк, что с двумя никак не сообразишься.

Сошедшись на этом, чета наша беседовала и советовалась о том, куда нести ребят, а наконец согласились и в этом: одного к откупщику, другого к купцу Лизунову. К откупщику потому, что у этих-де людей денег пропасть, не считают счетом, а гарнцами пересыпают – и Семен Иванович сам ужаснулся картине этой, когда выговорил такие слова, и растопырил пальцы; к Лизунову потому, что он бездетен, а человек с достатком, и жена его женщина добросердая и богомольная; скучая без деток, она не раз уже развозила вклады по церквам и монастырям, вымаливая Божьего благословения.

Ночь настала; ребятишки все давно поснули, где кто растянулся или свернулся; свечи и не зажигали, а лампадка под кивотцем тускло просвечивала в цветное стеклышко. Эти цветные *насадочки* на лампадку, которые Семен Иванович также называл *коленцами*, составляли всю утеху и развлечение домашнего вечера его; на эту роскошь он позволил себе исподволь поистратиться и перед молитвою переменял шкалики всех цветов и любовался ими, или наставлял один цвет другим, для чего и были у него шкалики с искусно отрезанными донцами. Эту проделку производил он сам, по табельным дням, посредством зажигаемой на шкалике серной нитки.

Пожинав в углу тюрки, то есть хлебца с кваском, и приправляя трапезу свою отрывочным рассказом о том, какую он хорошую редьку видел сегодня на базаре, когда шел от должности, он перекрестился и стал как-то тревожно ощупываться, чувствуя, что отчаянный час для него настал. Анна Алексеевна проговорила:

– Что ж, пора тебе, собирайся.

Бедняк так перетревожился, что лицо его пришло почти в такой же безобразный вид, как при первой встрече нежданного Божьего благословения.

– А вот – ох, Анна Алексеевна – а вот сейчас – не знаю, не грешно ли будет?

– Какое тут раздумье, – завопила Анна Алексеевна в досаде и изнеможении, – бери, говорят тебе, да неси.

– Ну, благослови Бог, прости нас грешных, прости – да которого же?.. Да они у тебя...

Теперь только Семен Иванович вспомнил, что он, за испугом и недосугом, не спросил еще *что Бог дал*.

– Да они у тебя, тово, – начал он было опять, но мать поняла его и перебила:

– Не у меня, а у тебя, оба в тебя, мальчишки. Бери любого наперед. Все равно. Неси, неси, я уж благословила.

На дворе стало темно, словно в дубинке, но тепло и тихо. Крадется кто-то под заборами, закутанный в шинелишку, – хоть и не совсем было по погоде так тепло одеваться – и, дошед до перекрестка, остановился, будто робея перейти поперек улицу. И темно и безлюдно и ставеньки все приперты, а все чудится, что кто-нибудь увидит. В стороне послышался одинокий стук колес и прохожий робко бросился назад, будто ему, с ношею под мышкой, безопаснее было идти по одному направлению, чем по другому. Опять все затихло. Только-что пешеход хотел-было выступить из-за угла, как неугомонный хозяин, оберегая полуразрушенный домишко свой от воров и пожара, ударил посошком в ворота и звучная, резкая дробь на-время огласила окрестность. Этот случай до крайности напугал нашего бедняка: ему померещилось, что бьют в набат, что вот сейчас весь городишко сбежится вокруг него и преступная тайна его обнаружится. Затихла и эта тревога.

Вздохнув тяжело, перешел он улицу, мелькнул как тень, и опять скрылся под забором. Дома через три он снова остановился: у него захватило дух.

Перекрестившись мысленно несколько раз, потому что руки были несвободны, он подался вперед, подошел к крылечку, над коим, по неизменному однообразному обычаю того города, был небольшой навес с узорочным деревянным подзором – распустил плащ, высвободил руку, перекрестился, вступил тише тени на крылечко и наклонился...

Семеро старшеньких ребятишек Анны Алексеевны, как я сказал, храпели и сопели по углам и по ворохам, где кто свалился и свернулся; восьмой, то есть один оставшийся из двойней, лежал молча у матери, подле опустевшего гнездышка своего братца, ушедшего так рано в гости или в чужие люди. Все было тихо, теплилась лампада в синем шкальчике под образами, да ребятишки по временам бредили несвязно, или постукивали в беспокойном сне, то локтем, то лбом, то затылком в пол, да иногда слышались стоны, охи и вздохи роженицы. Среди тишины этой раздались шаги в сенях – Анна Алексеевна перекрестилась; слава Богу, одного сбыли... Семен Иванович вошел, крепко запыхавшись, но она не могла еще видеть его из-за ширм.

– Ну что, благополучно? С Богом, бери другого...

– Ах, Анна Алексеевна, ах!.. – проговорил он и остановился, не досказав ничего.

– Бери, Семен Иваныч, бери скорее и другого, уж заодно, не миновать – неси. Что мы с ним тут делать станем?.. Твой ведь, бери, бери...

Вместо ответа Семен Иванович вошел к ней за ширму – с двойною ношею против той, с которою вышел из дома, под обеими мышками, и молча положил перед

роженицей, вместо одного, двух новорожденных. Он был в таком страхе, в таком испуге, что весь дрожал; зубы стучали у него, как в лихорадочном ознобе, глаза бестолково мигали; он подергивал туда и сюда губами пепельного цвета, будто собираясь говорить, но не доискивался слов. Затем стал он судорожно перебирать пуговицы вицмундиришка своего (сюртука у него в заводе не бывало) и, оторвав одну, висевшую на вершковой нитке, стал ее внимательно рассматривать.

– Господи! Да что это? – проговорила испуганная насмерть Анна Алексеевна.

– Бог знает, и сам не знаю что такое, – отвечал он, заикаясь.

Роженица с трудом приподнялась и, ощупав торопливо тот и другой сверток, убедилась, что Семен Иванович без всяких шуток, подлога или обмана, принес домой двоих младенцев: того самого, которого понес было в люди, и еще дружка ему. Первый был обернут все в те же лохмотья, в каких его унесли, второй – в порядочном одеяле, какого у Анны Алексеевны никогда еще не бывало в доме. Последний начинал кряхтеть и пищать.

– Что это? Как это с тобою случилось? Да говори!

– И сам не знаю, видит Бог, не знаю; так вот вдруг...

Посторонний слушатель мог бы заключить из бестолковых ответов Семена Ивановича, что и в самом деле ему самому, то есть самолично Бог послал милость или благословение это, по примеру того, как случилось тоже с Анной Алексеевной. Но дело исподволь объяснилось иначе. Лишь только он наклонился, бережно опуская кровную ношу свою на деревянное крылечко откупщика, как этот сам, собираясь куда-то со двора, вышел из калитки; он остановился, взглянул на незваного гостя, кинулся на него и, ухватив за ворот подозрительного посетителя, закричал о помощи во двор, откуда тотчас выбежало еще два человека.

– Кто тут? – спросил он. – Что делаешь?

Семен Иванович, растопырив, по обычаю своему, все десять пальцев, с большой натугой прошептал:

– Я ничего-с.

– Как ничего? – продолжал хозяин, оглядываясь зорко впотьмах. – У тебя было что-то в руках. Где украл, куда девал?

Семен Иванович начинал вздрагивать всем телом, а хозяин, отыскав и рассмотрев сверток, закричал:

– Что это? Э, брат! Да это вот что? Не нашел, что ли, другого места, куда щенят своих закидывать – а? Сейчас забирай их, да с глаз долой, не то я тебя... – и замахал над ним тростью.

Семен Иванович поспешно кинулся вперед, наклонился и, подняв своего несчастного ребенка, хотел-было бежать без оглядки, но хозяин, подняв над ним грозно палку, закричал:

– Обоих, обоих!

Никакая божба, ни клятвы испуганного насмерть Семена Ивановича не могли убедить озлобленного хозяина, что бедняк наш принес одного только, а не двоих; никакое: «помилуйте» не могло разжалобить жестокосердого; пойманный с поличным, Семен Иванович ничем не мог отделаться; трость над ним извивалась и хотели, сверх-того, отправить его с щенятами, в полицию, чтоб отдать под суд.

Почти утратив всякое сознание и память, бедный Семен Иванович должен был подобрать и другого ребенка, Бог ведь кем и откуда незадолго до него подкинутого, и нести обоих без оглядки домой. Его напутствовали брань и угрозы барина с камышовою тростью.

— Божья воля, Анна Алексеевна, — закончил он, — власть ваша, а все Божья воля...

Сам в изнеможении опустил на облупленное ветхое кресло, закрыл лицо обеими руками и поставил оба локтя на стол, потом прошептал: «все за грехи наши, все по грехам.»

Несколько минут длилось мертвое молчание. Бедняк ничего не видел и не слышал, а тупо корпел над безвыходным положением своим. Он вдруг опомнился и пробудился от раздавшихся около него шагов. Несмотря на забытие свое, он в то же мгновение сообразил, что ходить тут было не кому и быстро выпрямился, открыв глаза: Анна Алексеевна была на ногах и в заботах около трех, рядом положенных младенцев. Он вскочил с кресла и, в страхе, стал ее уговаривать улечься и успокоиться, приговаривая: «Помилуйте-с, нехорошо, ей-ей нехорошо». Но она молчала, а решительные приемы ее вскоре убедили его, что он может отложить благонамеренные советы и увещания свои до другого раза. Их, казалось, никто и не слышал, не только не слушал. А когда Анна Алексеевна приходила в такое расположение, то следовало оставлять ее в покое — это он знал. Забыв все страдания и самое положение свое, она, с какою-то отчаянною решимостью, осмотрела, едва-ли не в первый раз, двойней своих, от которых доселе отворачивалась в негодовании, и с тем же материнским участием и заботливостью развернула и перепеленала третьего младенца; потом уложила их опять, приготовила им соски из жеваного хлебца, и тогда только опять спокойно улеглась. Взглянув на изумленного до степени своей бессмысленной улыбки мужа, который стоял, сложив руки и скрестив пальцы, следя мутными глазами, тупым и тревожным взглядом за всеми движениями жены, Анна Алексеевна сказала решительно:

— Перекрестись, да ложись с Богом; ты прав; от Божьего гнева да от Божьей милости не уйдешь. Ложись, говорю тебе, отдохни. Станем сами кормить и тройней.

Не соображая вперед ничего, как это вообще было не в природе Семена Ивановича, он, однако ж, видимо успокоился и просветлел в лице от такого неожиданного спокойствия своей супруги. Отвечать на это было нечего, разве только: «Ну, слава Богу, слава Богу»; жернов отвалил у него от сердца.

Образумившись, он спросил еще: «Не надо ли приготовить на ночь, или принести того-другого?» — помолился и лег. Домовой принялся было душить его, после этой коротенькой отрады, отчаянною думкою на счет способа прокормления семьи, но он откашлялся и заснул в изнеможении, бормоча про себя: «Бог милостив; с голоду пропасть нельзя, никак нельзя: Бог милостив».

На другой же день весть о тройнях разнеслась по всему городу, с разными обстановками, прикрасами и дополнениями; но сущность оставалась неискаженной: «У Семена Иваныча тройни». — «Совсем не то: Семен Иваныч завел у себя воспитательный дом.» — «И это не то: Бог благословил Анну Алексеевну двойнями, а Семену Иванычу показалось мало, он и добыл третьего», и проч.

Новость эта заняла весь город; от нечего делать, все приняли самое живое участие в судьбе бедного счетного чиновника и две недели кряду люди не встречались и не здоровались иначе в городе этом, как вопросом: «А послали вы что-нибудь на зубок тройням нашим?»

Этого мало: через неделю Семену Ивановичу подкинули — не бойтесь, не ребенка, а записочку, с приложением ста рублей и с обещанием, присылать ежегодно по столько же, доколе принятый им младенец будет жив, потому что был предназначен зажиточному человеку, а не бедняку, которому и самому есть нечего.

У Семена Ивановича задрожали руки и пепельного цвета губы и лицо дурацким порядком перекоилось; потом слезы брызнули и покатались покатом по щекам. Он, отродясь, не держал в руках своих ста рублей, хоть и пересыпал сотни тысяч, как горох, на счетах. Но вот что важно: один из сослуживцев, а за ним и двое сторожей, прибежали поздравить его с получением штатного места. И этим он обязан был тройням: обратив по сему поводу внимание на безответного и бессловесного Семена Ивановича, начальник сжалился над ним и повысил его — по понятиям самого Семена Ивановича — чуть не в министры. Семен Иванович, когда ходил благодарить за милость эту, воспользовался благосклонностью начальника и испросил заблаговременно позволение определить тройней своих, когда подрастут даст Бог, прибавил он, писцами в то же место, где сам он служил. Это его окончательно успокоило.

Вам грустно стало, по прочтении первой половины этого рассказа — не правда ли? А мне едва ли не грустнее стало теперь, когда для полноты и правдивости, должен прибавить еще несколько слов. Вам бы хотелось видеть теперь картину довольства и порядка в доме и хозяйстве Семена Ивановича после стольких лет горя, нужды и голода? Да; и я бы дал за это дорого. Но этого не было и быть не могло.

Не голодали, а жили, впрочем, в таком же свинстве и грязи, а хозяйничали бестолковее прежнего. Семен Иванович наперед всего позаботился о платках и шляпках и других тряпках для Анны Алексеевны; она же, с своей стороны, ничего не умела сделать на пользу хозяйства и огромной семьи своей, как отсчитывать мелкие деньги да посылать раз по десяти на день одного из детей своих в лавочку.